

В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ В КИТАЕ

(ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ)

АЛЕША

В последний раз мы полетели в Китай, в 89-м году, троим: я, М., Щ. по культурному обмену Шанхай — Ленинград. Дорогу оплачивают наши, там содержат китайцы. На следующий год — они к нам.

Ну, хорошо. Билеты Москва — Шанхай нам взяли в Москве, но мест на один рейс троим не хватило, вышло: два билета на завтра, один через два дня. М. — самый ушлый из нас троих, бывал в Китае и где-то еще, поэтому возглавлял нашу троицу. Билеты на завтра он распределил так: себе и мне. Совершенно убитому, никуда до того не летавшему Щ. он сказал: «Поедешь с нами в Шереметьево, будь спок, я тебя посажу. У тебя есть шампанское?» Щ. сказал, что есть. «Давай». С выпивкой в том году вообще было худо, а шампанского в Москве — полный йок.

В Шереметьево М. повел нас именно к тому человеку, от которого зависела судьба Щ. — лететь или кувать еще двое суток, к начальнице смены. Начальница за смену навидалась всяких просителей, ее лицо выражало полную неготовность к участию, вхождению в чье бы то ни было положение.

М. заговорил с ней в таком тоне, как будто они давно знакомы, не делал пауз для ее возражений; его большое лицо с большим носом, губами, щеками как-то обвисло, веко припадночно заподергивалось: М. стал заикаться.

— Со-солнышко, — сказал он начальнице смены, — мы работаем в Ки-китае по контракту на монтаже. Срочный за-заказ. У нас там умер то-товарищ. Гроб не может простаивать. Это надо платить бешеные деньги. Двое из нас привезут гроб домой, один останется до-доделывать за товарища. Понимаешь, со-солнышко?! У нас би-билеты на этот рейс, а у него... Ты его посади с нами. Вот тебе ша-шампанское. После выпьешь за по-помяну души нашего товарища. Атличный был му-мужик. Двое детей осталось: сын и до-дочка. — М. утер непроизвольно набежавшую слезу.

Начальница смены посмотрела на нас по-человечески, взяла шампанское и посадила Щ. вместе с нами.

В Шанхае нас встретил переводчик Лю. Он только что перевел напечатанную в «Авроре» «Интердевочку» Кунина, очень этим гордился.

Во многих наших городах есть свой шанхай, шанхайчики. Шанхаем зовут в Магадане слободу самостроя — землянки на боку сопки у моря.

«Шан хай» — по-китайски «над морем» — два иероглифа: «над» и «море».

Китайцы чаще всего улыбаются, но радуются ли они?

Лю сказал, что весело стали жить в Шанхае всего как десять лет, а до того жили грустно.

В Шанхае тринадцать миллионов населения. Около миллиона коммунистов. Шесть миллионов велосипедов.

На укромном бульваре на пьедестале один-одинешенек стоит Александр Сергеевич Пушкин.

Нас поселили в отеле «Дин ань», что значит «Тишина и умиротворение».

Начали с того, что пошли в ресторан отобедать. За соседним столиком сидел человек в белой рубашке, с американским лицом, то есть с лицом, вобравшим в себя черты многих наций, без каких-либо резкостей, без этнической маски. Не поворачиваясь к нам, сказал:

— Я наконец-то услышал русскую речь.

Следовало вежливо улыбнуться, выразить готовность откликнуться на позыв и снова приняться за подцепление палочками китайской еды, не имеющей соответствия за столом в России. Но М.! О! М. встал из-за стола, с

внезапным наплывом чувств, как окликнутая хозяином ласковая собака, тяжело переваливаясь большим брюхом, пришел к русскоязычному американцу, сказал ему:

— Дай я тебя поцелую.

Американец равнодушно заметил:

— Помилуйте, откуда такие нежности?! Чем я заслужил?

Но поцелуй уже был нанесен, обратно его не взять. Требовалась ответная реакция, дело закрутилось. На вопросы М. американец сказал, что он родом из Харбина, русский, но уже двадцать пять лет живет в Нью-Йорке. Здесь в Шанхае по делам службы, его кампания строит завод. Русский американец назвал свой номер, сказал:

— Если хотите, вечером заходите.

Вот как выходит, если не упустить момент, не поддаться правилу такта, ненужной скромности или, что упаси Бог, застенчивости.

Русский американец назвал себя Алексеем. Когда я спросил у него, как по батюшке, он ответил:

— Я уж двадцать пять лет без батюшки. Был Константиновичем.

Вечером мы все трое: я, М., Щ. — сидели в номере у нашего нового друга, звали его Алешей, и он нас по имени. Алеша послал свою секретаршу-китайку в буфет за тоником, а джин, виски, водка стояли вблизи на виду. И начался у нас разговор, бестолковый, русский, с перебиванием друг друга, с тостами взахлеб. Первый раз Алеша налил нам в рюмки чего кому хотелось, после сказал:

— Уж вы сами наливайте.

Что мы добросовестно исполняли.

Чем дальше, тем более разговор разгонялся, набирал темп: надо было пробежать слишком большое расстояние, чтобы сравняться с Алешей. Он сидел в кресле, сухопарый, в белой рубашке, из отутюженных брюк высывались будылья его сухих долгих ног, в белых носках, в черных начищенных штиблетах. Китайка-секретарша приготовила Алеше пойло от кашля, по-улыбалась на нас без слов, как улыбается кошка, оказавшаяся в компании людей, хотя и ласковых к ней, но подспудно опасных. Алеша отпустил китайку восвояси, мы остались одни.

На поверхность вышел случай из Алешиной практики. Однажды Алеша, когда еще был помоложе, а в Китае господствовал коммунистический строй, со всею строгостью, попросил у администратора гостиницы разрешения пустить к себе в номер женщину на ночь. Администратор спросил у него: «Женщина-китайка?» Алеша сказал, что она европейка. «Ну, тогда пожалуйста. На здоровье». «А если бы китайка, то не пустили бы. У них с этим строго».

М. заметил, что если бы все же китайка вошла бы в номер к американцу, то после бы ее заставили заниматься самокритикой, отправили бы на перевоспитание в деревню, а то и еще что-нибудь похуже.

Лицо Алеши несло на себе знак возраста, он сделался мужчиною в годах, но ни малейших признаков излишеств, потрясений, лишений, самоистребления, как на наших лицах, на его лице не прочитывалось. Так же, как и на лице его державы, если ее сравнить с лицом нашей державы.

Алеша сказал, что с этим покончено, — с женщинами: было, приятно вспомнить, но пришло время освободиться от этого, оборотиться душой к Богу. Хотя он в Бога не верит, но все равно туда, выпсрь. И это воистину освобождение.

— У меня первая жена была русская, — сказал Алеша, — она умерла. Пять лет назад меня черт дернул жениться на ирландке. Она гораздо моложе меня, хороша собой, и у нее, как и у меня, взрослые дети... Но и это мне стало как-то ни к чему. Я ей предлагаю разводиться, она уговаривает подождать, ей это зачем-то нужно. Я уже решил для себя — уйду в Толстовский фонд доживать и там помирать. У них хорошее местечко в парке под Нью-Йорком и условия приличные. Пока ты богат и в силах жить, как тебе нравится, — пожалуйста, живи. Тебе там дается комфортабельный домик, питание, врачебный уход. Ты платишь им восемьсот долларов в месяц, а дальше живи как хочешь, можешь ездить на своей машине куда тебе заблагорассудится, путешествовать. А когда ты станешь беспомощным стариком, то отдашься в

руки, они за тобой ухаживают. Тогда уже твоя пенсия вся поступает им в фонд, ты живешь у них на полном попечении. Они тебя и похоронят, если больше некому.

— Я вроде бы получаю немаленькие деньги, — продолжал свой самоотчет русский американец Алеша перед тремя развесившими уши тогда еще советскими стартерами, — шестьдесят тысяч в год, и жена сорок — сто тысяч на семью. Дети взрослые, сами зарабатывают. А все равно всё куда-то уходит, черт его знает, сбережений никаких нет. Америка такая страна, знаете, обвешанная всякими вещами. Куда-нибудь пойдешь или поедешь, обязательно что-нибудь купишь. Раз вещь произведена, ее надо потребить, на этом построена вся психика. Был у тебя такой автомобиль, ты не уймешься до тех пор, пока не купишь новый, получше, подороже. А для чего? Иной раз подумасешь, такая тоска охватит... За двадцать пять лет в Америке у меня не завелось настоящих друзей. Есть несколько русских, встретимся — надеремся, душу отведем.

О чем у нас разговаривают? Да Бог его знает о чем. Какой-нибудь твой знакомый съездит в отпуск на Бермуды, вернется, позвонит... Спросишь: «Ну что?» Ответит: «Прекрасно. Купались, загорали, цены там терпимые, это стоит столько, а это столько». Ну и что? А ровным счетом ничего. Ни о каком смысле жизни, ни о чем таком, имеющем хотя бы какой-нибудь смысл, отдельный от вещей, там никто не думает. Америка затягивает, как болото, едрена мать!

Выпили за Россию, за Америку, за нашу встречу и так, ни за что. Русский разговор в люксе гостиницы «Дин ань» — «Тишина и умиротворение» — прыгал от предмета к предмету, как кенгуру в Австралии (впрочем, откуда я знаю, как прыгает кенгуру). Правда, мы больше подымали наши бокалы, ораторствовал хозяин люкса.

— Я в ваш социализм не очень-то верю, — сказал Алеша, — у вас бюрократ на бюрократе. И в Америке то же самое. Но кем я восхищаюсь, так это Сталиным. Он почти тридцать лет был неограниченным диктатором Советского Союза — и не оставил после себя ни копейки на счете! Одни сапоги и шинель... Он не воспользовался властью в собственных интересах. Это — единственный случай в истории человечества. Что такое президент Америки? Для чего он тратит средства на выборы? Чтобы послужить государственным интересам? Фиг с маслом! За четыре года президентства он заводит связи на самом высоком уровне — для собственного бизнеса, чтобы обеспечить себя и потомков до третьего колена...

— Алеша, дай я тебя поцелую, — оторвался от сиденья М.

Проведя ночь в русской компании, Алеша обрусел, со всеми перецеловался без содрогания. Из Алешиного апартаменты мы унесли в себе тишину и умиротворение.

— Ну вот, а вы говорите, — обратился к нам М., ожидая себе заслуженную похвалу.

Сказать было нечего, что тут скажешь?!

— Я их как облупленных знаю, — сам себя похвалил М. — Когда мы их в Харбине шерстили, в пятидесятые годы, — эмигрантов, я их психологию изучил. К ним надо применять политику к-кнуа и п-пряника. Они сразу раскальваются. Такие же ра-раздолбай, как мы. Я тогда был старшим се-сержантом. К-красавец!

М. малость стал заикаться, но пора было спать. Шел пятый час утра по шанхайскому времени.

ОБРЕТЕНИЕ ЛУНЫ

Был обед в Суджоу, в ресторане «Постижение луны». Или «Обретение луны». Или «Вдвоем с лунной». Кому как нравится. Нас пригласили на фирменный китайский обед писатель Лу Ванфу, редактор журнала «Суджоское обозрение», посвященного местной культуре, истории, духовным ценностям города Суджоу, которому вот уже 2500 лет. Отсюда брала начало Великая шелковая дорога.

Лу Ванфу — автор единственного в истории литературы романа, главным героем коего является повар, под названием «Гастроном». Повар ресторана

«Обретение луны» — приятель Лу. Он расстарался для своего друга и для русских гостей, превзошел все, чем до сих пор славился главный ресторан города Суджоу.

Сначала подавали закуски; кусочки мяса с острой приправой, некую зелень, может быть, здешнюю капусту или какие-нибудь водоросли (в одном из обедов, не помню уж где, участвовал суп из водорослей, растущих только в одном озере, ну и, конечно, с грибами, чилимы, что-то еще. После, когда я попрошу Лу записать меню — реестр нами съеденного, он скажет, что закуски не в счет, запишет восемнадцать существенных блюд. Супа подавалось два: в самом начале и ближе к концу. Заключительный суп достоин отдельного если не романа, то эссе на тему «Гастроном». Принесли на стол с вращающимся деревянным кругом посередине — газовую жаровню, на ней никелированная лоханка с кипящим супом. Что в том супе, известно только суповару (в первом супе были грибы, это точно).

М. обрадовался супу, как старому знакомому (в никелированных боках лоханки отражались наши расплывшиеся рожи), воскликнул: «Это — китайский самовар!»

Почему «самовар», выяснится чуть позже, когда вокруг жаровни и лоханки наставят блюда с розоватыми кусочками чего-то, креветками (предупредят, что креветки пресноводные, нежные; в соленой воде грубые). Принесут ворох какой-то зелени. Нам надлежит приступить к действию самоварения: взять палочками кусочек с блюда, окунуть в кипящий суп, там держать до тех пор, пока сварится. Объяснили: розовые кусочки — свинина, говядина, побелее — курятина и еще четыре вида рыб, белых и красных. Когда все натешились самоварением, оставшееся: зелень, креветки, свинину, говядину, курятину, четыре вида рыб — погрузили в лоханку, все проварилось, образовался новый суп, до сего дня, часа, места никем не варенный и не пробованный.

К сожалению, наша чревоугодная впечатлительность заторможена да и вообще едва ли можно ее изошприть в той степени, как изошпрят эстетическое чувство. К тому же это было уже восемнадцатое из съеденных шедевров, не считая закусок.

Да, чуть не забыл, еще подавался суп посередке между первым и третьим супами, опять-таки на жаровне, кипящий (надо сказать, китайцы любят есть вгорячах). В нем среди множества ингредиентов всплывали, выказывали плоть большие фрикадели из некоего фарша. Лу объяснил, что данный суп — гвоздь в программе его друга повара: в фарше наличествует мясо краба и мясо свиньи. Еще в одном лотке на жаровне у нас на глазах тушилось какое-то мясо, помещенное в зеленые пряди, луковицы, кочешки, со специями.

Что еще довелось проглотить, чем обжечься с пылу-жару, — нет у меня этих слов. Про некоторых писателей говорят, что они пишут брюхом. Вот бы их сюда, за этот стол, да и то вряд ли бы написали что-нибудь адекватное сотворенному поваром ресторана «Обретение луны» в городе Суджоу. По-видимому, это можно передать только китайскими иероглифами, каждый из коих выражает какой-нибудь цвет, запах, вкус, оттенок, явление, состояние, умозрение...

Нельзя не сказать о подававшемся к обеду шаоцинском вине. Вино бордового, может быть, и вишневого цвета, с кофейным оттенком. Лу Ванфу сказал, что это единственное в мире — по вкусовым питательным, хмельным и другим качествам — вино, что о шаоцинском вине пишется сейчас специальное исследование, что его родина — Шаоцин, это родина писателя Лу Синя; писатель каждый день выпивал шаоцинского вина, тем поднимая свою творческую потенцию. (Вспомним, что Лу Синь переложил на китайский язык «Мертвые души» — с немецкого, русского он не знал. Вообразим, каково было вдохнуть в иероглифы, после двойного переложения, дух бессмертной «поэмы» русского гения?! Очевидно, помогло шаоцинское вино.) Вино делают из риса: дают ему перебродить дважды, отсюда и его темный цвет сусла; обходятся без сахара, кажется, и без дрожжей. Крепость вина восемнадцать градусов. После четвертой бутылки — на шестерых — М. разговорился (Лю едва успевал переводить, пропуская смены блюд), а я, начав речь, терял нить.

Лу Ванфу сказал, что может с закрытыми глазами на вкус определить любое вино, из какого оно времени, места, чего оно стоит. Так, он побывал во Франции на дегустации вин и ни разу не ошибся. Мы спросили, каково его мнение о нашей водке. Он сказал, что это напиток дурной. Отрицательный отзыв о нашем любимом напитке, отчасти сформированном русским национальный характер, не омрачил нашего дружеского сидения за круглым столом с вращающимся на нем черным деревянным кругом, с плывущими на кругу кушаньями небожителей. Подали по фиолетовому кубу чего-то вязкого, терпко-кисловатого. Не обошлось без китайских пельменей.

Разговор наш касался разных материй. Лу Ванфу спросил об отношениях Шолохова со Сталиным. По-видимому, во время ссылки – в культурную революцию – он размышлял о судьбе писателя при коммунистической диктатуре, о собственном отношении к диктатору Мао... Мы изложили свои версии. Любая на этот счет лишена основы знания: почему дядюшка Джо одних писателей казнил, других миловал, знал только он один и унес с собой в могилу. Лу Ванфу сказал, что будущее человечества зависит не от союзов нашей страны с Америкой или Европой, а от союза с Китаем. Мы с ним согласились.

Поглядывая на всех ясными голубыми глазами уроженца подстепной России, не подмаргивая, не заикаясь, М. произнес длинную речь (после четвертой бутылки шаоцинского вина) про то, что... Сорок лет назад Китай представлял собой конгломерат разрозненных, враждующих, бедствующих, голодных провинций. Для того времени наш опыт железного соцгосударства оказался приемлемым для Китая, наша помощь уместной. Мы им построили заводы, дали машины, вооружили и выучили армию, а затем начались зигзаги диктатуры, большой скачок и все прочее. Наступило время, когда наш опыт, погубительный для нас самих, грозил Китаю разорением. Но в здоровом развивающемся организме китайской нации, даже при коммунистическом руководстве, нашелся здравый смысл поворотиться к другому опыту, каким располагает человечество. Китайцев отпустили на волю, не совсем, не как у нас в перестройку, без этого шелудивого плюрализма, а дали китайским крестьянам поработать на своей земле, горожанам – поторговать по собственным ценам. При сохранении партийной дисциплины сверху донизу. Что из этого получилось, хорошо бы нам присмотреться. За десять пореформенных лет Китай оделся, обулся, отстроился, уверовал в себя. А китайцев поболее миллиарда. В заключение своей речи М. сказал, что пусть каждая страна идет своим путем, лишь бы шла, а не останавливалась. С этим тоже все согласились. Я добавил, что хорошо бы и каждому из нас – не останавливаться. И это приняли.

Лу Ванфу рассказал, как его с семьей отправили на перевоспитание в деревню, девять лет продержали на самых грязных работах. Он улыбался, как улыбаются все китайцы, но его оливкового цвета лицо, его глаза, смотрящие не только вовне, но и внутрь себя, выражали необходимую для размышления грусть, смирение с грустью, строгую, то есть строго расходуемую по назначению доброту. Его доброта к нам материализовалась в произведения кулинарного искусства, кружащиеся на кругу. Это Лу Ванфу давал обед гостям из России в лучшем ресторане Суджоу «Обретение луны».

Пришел друг Лу, повар, – веселый молодой китаец с превосходными белыми невставными зубами, в белой куртке и белом колпаке, радостно поблескивал черными глазами, радовался, что доставил радость гостям.

Давайте же выпьем за дружбу. Но не напьемся: дружба требует трезвости, умелых трудов, неубывающего усердия.

ЛЕГКИЙ УЖИН В ХАНДЖОУ

В Ханджоу в обед подали свинину, тушенную в соусе, большими кусками с жиром, а к свинине головки местного овоща, похожего на лук и на чеснок, но ни то, ни другое; ханджоуский овощ сам по себе. Перед заключительным супом, с водорослями из Западного озера (по-китайски Си Ху) и тоненькими дольками ветчины, принесли нечто среднее, переходное от блюда к супу, с

яичными хлопьями, зелеными прядями, мясной вырезкой, опять же разрезанной на доли, — эдакое хлебово, тюрю. Тут обмишурились даже наши китайцы: товарищ Ло, приданный нам в Шанхае, и переводчик Лю приняли хлебово за суп, сочли обед законченным. Как вдруг приносят суп с водорослями, наши китайцы говорят официантке: «Это не нам, мы свой суп съели». Официантка-китайка улыбается: «Никак не съели. Вот ваш суп, и будьте любезны, а то, что перед супом, суть блюдо».

Да, на закуску кальмары, нарезанные мелкими звездочками, рыбное филе и еще что-то. Но закуски не в счет.

Кроме тушеной свинины, еще подавали свиное филе, нашинкованное, как шинкуют капусту, с долями зеленого перца. Творог из соевого молока, в суперостром — горло перехватывает, нерхаешь — соусе. В Ханджоу творог нежнее, чем в Шанхае, его и палочками не возьмешь за бока. Пиво здесь тоже отменное, его делают из воды Тигрового источника, другого такого источника в Китае нет.

К молодым побегам бамбука мы уже привыкли, сегодня отведали каши из корней лотоса — шибко вкусно!

Ханджоу — родина чая, еще предстоит почаевничать. После китайского обеда неодолимо тянет на боковую, но по программе — прогулка по озеру в лодке.

Как-то раз в Китае,
в городе Ханджоу
солнечной, бесснежной,
ласковой зимой
(кстати, по-китайски
«местность» — это «джоу»)
я гулял беспечно,
старый и хромым.
Сел у парапета
в лодку без мотора
с девой-китайкой
за веслом в корме.
Мы поплыли молча
в тишине простора,
с мыслью несказанной
в дремлющем уме.
Дева-китайка
в воду опускала
мерно и толково
мокрое весло.
Были тихи воды,
и душа алкала,
чтобы дунул ветер,
чтобы понесло...

Тут как раз и ужин. Обед еще не переварился, не усвоился, не всосался. Я сказал Лю и Ло: «Хорошо бы полегче ужин». М. усмехнулся., Ш. насупился. Лю радостно отозвался: «Побольше овощей!» Ло углубился в меню, поговорил с официантом. Вскоре принесли на круг блюдо с кусочками какого-то мяса, в остром соусе, затем китайскую соленую капусту, не такую терпкую, как наша, почти свежую, клубеньки маринованного овоща — среднего между луком и чесноком. Начался легкий ужин, круг закутился, явилась отменно горячая свинина в лотке, нашинкованная, с приправой, курица в соку, пельмени, варенные в решете с крышкой, пельмени, обжаренные до румяности... М. плотоядно ухмылялся: «Что, получили легкий ужин?»

Дали миску с супом, с яичными хлопьями, помидорами...

Каждый ингредиент легкого китайского ужина производил на пищеварительный тракт то же действие, что доза алкоголя на нервную систему любителя выпить: аппетит приходил во время еды.

Но все кончается, как бы ни было повадно. Я вышел в вечерний Ханджоу, ко мне кидались на углах сутенеры, валютчики, велорикши, зазывалы лавочек: «Хеллоу! Ченч мани! Кам ин! Вумэн?!»

В сквере на набережной стоял памятник китайскому добровольцу на корейской войне; такой же солдат, как наш, с таким же автоматом, только с китайским разрезом глаз.

ГЛЯДЯ В ОКНО ПОЕЗДА, ИДУЩЕГО ИЗ ШАНХАЯ В ПЕКИН

Поезд, как у нас, гдэээровский, но в каждое купе продают по шесть билетов: на нижних полках сидят, нос в нос, верхние застелены чем-то пышным – для отдохновения кого-либо из сидящих внизу: по выбору, по немощи, по почету – не знаю. Из нас пятерых: я, М., Ш., Лю и Ло – наверх тотчас взобрався товарищ Ло: переутомился. Мы весело базарили, глядели в окно, попивали зеленый чай: большой термос под столиком в ячее, кружки на столике.

За окном простиралась Великая Китайская равнина, почти такая же обширная, как Русская равнина, но поделенная на крестьянские латифундии; у каждого хозяина кирпичный дом, надворные постройки; хозяин – на маленьком тракторе или так, с мотыгой на полосе; на дворе зима, а полосы зеленые; здесь выращивают – снимают в год по три урожая. Ежели река, на ней полно джонок, катеров, баркасов: муравьиное копошение, снование туда-сюда – высокий уровень жизнедеятельности. Если пруд, в нем пух и перо, озеро – на нем китаец с большим сачком-наметкой – рыбачит. Глядя в окно поезда, не увидишь праздного китайца, пустой невзрачной земли, прозябающей воды. Китайцев много, у них много земли и воды, однако нет лишку, всего в обрез, у каждого крохотное местечко под солнцем, надобно его хорошенько обжить. Китайцы непьющие, это у них от буддизма.

В тамбуре поезда, как у нас, накурено, хоть топор вешай, по составу хождение из конца в конец, тоже по-нашему; в открытые двери купе видно: играют в карты военные чины, подполковники и майоры. Сразу по отправлении вдоль поезда впробежку прошелся посыльный вагона-ресторана, в белом колпаке, в белой куртке, с блокнотом: запицывал, кому в какое время обедать, что подавать. Лю заказал обед на нас пятерых.

Шестым в нашем купе едет чужой китаец с таким выражением на лице, как будто у него обострение язвы двенадцатиперстной кишки. Он вроде не смотрит на нас, не вслушивается в наше бормотание на неизвестном ему языке, и в то же время вдруг можно встретиться с ним глазами, увидать, что он наблюдает тебя, что раковина его уха повернута в твою сторону. Но мы свободны, экстерриториальны, вдали от попечения нашего всевидящего соцгосударства; мы беспечны и веселы. Мы даже и не думаем, почему вместе с нами, нос в нос, едет не улыбающийся китаец.

Билеты проверяет китаянка в форме кондуктора. Вместе с билетами требует паспорта. Мы не пересекаем какую-либо границу, Китай – неделимый, у него нет «ближнего зарубежья», едем по крайней Китайской равнине... но для чего-то так надо. Подаем наши, тогда еще советские паспорта: «Читайте, завидуйте! Я – гражданин...» Хмурый китаец протягивает кондуктору книжицу в красных корочках. УДОСТОВЕРЕНИЕ. Я вижу, М. заглядывает в книжицу китайца. Кондукторша уходит, М. поворачивается к шестому пассажиру в нашем купе, чего-то ему говорит по-китайски. Тот вымученно улыбается, по-черепашьи втягивает голову в плечи.

– Он в органах работает, – радостно сообщает всем нам М. – Это у них как наше КГБ. Он ксиву подал, я сразу усек, я с ними имел дела, когда сражался за освобождение Китая. Я два года переводчиком у Джудэ... – М. обращал свою речь китайцу, тот слушал. У М. задергалось веко, он стал запинаться на первых слогах. – Он же по-по-русски говорит лучше, чем мы с ва-вами. Да ты не ту-тушуйся, – увещевал М. обладателя красной книжицы, – мы-мы же свои ребята. Я два года на ко-корейской войне ки-китайским добровольцем...

В купе становилось как-то нечем дышать, невпродых, то ли от жалости к загнанному в угол китайскому штаб-капитану Рыбникову, то ли от неловкости перед нашими китайцами. На лицах запечатлелись улыбки, похожие на гримасы. Один М. пребывал в своей тарелке, не унимался.

— Да брось ты! — похлопывал он по плечу китайского служивого человека. — Ру-русский с ки-китайцем — братья навек!

— Пора на обед в вагон-ресторан! — громко возгласил Лю. — Просили не опаздывать.

Ло кубарем скатился с верхней полки. Мы вышли из купе с облегчением. Остался один шестой пассажир.

В вагоне-ресторане на накрытом для нас столе нас ждали только что сваренные нежно-розовые креветки, ну, конечно, свинина с перцем, курица в соусе, с побегами бамбука. Принесли лягушачьи ножки, такие, как ножки дупеля или бекаса. Затем... каракатицу. Лю сказал, что каракатица при опасности выпускает чернильное облако... каракатица белая, трубчатая, нарезанная на змеевидные жгуты. Следом за нею карп в кисло-сладкой подливке. В финале суп с грибами, помидорами, ветчиной. И каждому по большой миске риса. Легкий обед в вагоне-ресторане скорого поезда Шахай—Пекин.

Мы вернулись в свое купе, шестого пассажира там не было. Дальше ехали впятером.

СРЕДСТВО ОТ КУРЕНИЯ

Мы улетаем домой из Пекина. В аэропорту М. взвешивал чем-то набитые сумки и баулы. Выходил перевес против положенного, надо было доплачивать, а юани, понятное дело, на нуле. Чем набил свои баулы наш глава делегации? Кто ж его знает... повсюду он покупал лекарства — от печени, почек, для повышения мужской потенции, травы, корни, что-то еще. Из Суджоу вез батарею бутылок шаоцинского вина, из Ханджоу копны зеленого чая... М. подходил к улетающим советским людям, выбирал из них, по какому-то ему известному признаку, того, у кого в багаже недобор, говорил примерно следующее: «Понимаешь, три года в Китае по контракту, накопилось всякого дерьма, бросить жалко. Пицца здесь сам знаешь — печень вдребезги разрушена. Вот лекарства везу, таких у нас не купишь. А доплачивать за багаж — нам же гроши платили, здесь не капстрана... Можно я часть своего багажа вместе с твоим на весы поставлю?»

Тот, к кому обращался М., сомневался, внутренне мучился: и отказать неловко соотечественнику с разрушенной печенью, и взять на себя эту обузку... Тогда из Москвы в Пекин и обратно летали серьезные ответственные люди, торгашей-челноков и близко не подпускали...

В Шереметьево М. долго выдергивал с багажного круга свои манатки; обвешенный ими, поволокся к проходу для командированных, без таможенного досмотра. И мы за ним следом: пока что он оставался нашим главой, мы еще не переступили на свободную территорию. М. протянул стоящей на контроле строго-неприступной особе какую-то бумагу. Особа прочитала и возвратила подателю: «Здесь проходят командированные и дипломаты. У вас есть служебный паспорт или какой-нибудь документ? Если нет, идите вон туда. Что вы мне дали? Это не документ».

«Я — председатель общества по выживанию че-человечества, — задергался М. (а мы и не знали). — Его учредители: Ка-картер, Ми-миттеран, Тэ-тэтчер... Мою бумагу подписал Ры-рыжков. Вот...»

«Товарищ, не мешайте, — сказала особа. — Проходите где положено».

Я и Щ. пошли туда, куда положено было идти.

Дома мы повстречались, повспоминали о нашей последней поездке в Китай. Щ. прочитал кому-то лекции о Китае. М. основал что-то российско-китайское; кажется, выпускал газету. Затем все покрылось туманом забвения.

Зато Китай все более на виду.

МИЦУКО ОХАТА И ЕЕ МУЖ

Были японцы: госпожа Мицуко Охата-сан и ее муж, о котором Мицуко отзывалась коротко: «Мой муж». Выяснение имени мужа ни к чему не привело, удалось узнать на слух только то, что в его имени присутствуют звуки «цзин» и «ич». Но как они сопрягаются в полное имя, повисло в воздухе. Мицуко сказала: «Мой муж сажает картошку на острове Хоккайдо,

но убирать ленится, говорит: завтра, завтра...» И она сказала: «Мой муж профессор философии...» Зашел разговор об узкой специализации профессора, но таковая осталась невыясненной. Мицуко сказала: «Мой муж один специалист в своей области на острове Хоккайдо».

Мужу Мицуко Охата семьдесят лет, к нему подходит русская примета: маленькая собачка до старости щенков. У него грива черных волос, полный рот своих собственных зубов, он настороженно прислушивается к говорению по-русски его супруги; изредка она что-нибудь переводит ему по-японски. Профессор Охата иногда заговаривает по-английски, но забывает слова или правила грамматики, застенчиво улыбается. Первый глоток водки «Охта» сделал с опаской, затем увеличил забор водки в рот, выпил несколько стопок, пришел в радостное состояние, смеялся. Супруги Охата большую часть жизни прожили в городе Саппоро на острове Хоккайдо, в собственном домике с садом. Недавно переехали в Токио, там у них сын, квартира... Сын любит ездить на машине, а родители не имели в своей жизни машины.

Мицуко Охата-сан шестьдесят семь лет, в маленькой машине много живости, сохранившейся лукавой женственности. Вообще, Мицуко смешлива, но когда заговаривает о маме, на глаза ее навертываются слезы. Мама Мицуко умерла, не дожив три месяца до ста лет. Мама была буддисткой, но не стриглась согласно правилам буддизма, носила длинные волосы. Мицуко не стала буддисткой, скорее, она атеистка, хотя все, что связано с памятью о матери, для нее свято. Мицуко Охата-сан – домохозяйка в городе Саппоро на острове Хоккайдо, теперь в городе Токио на острове Хонсю...

В 1978 году совершенно неожиданно для себя я нашел в почтовом ящике письмо из Японии. Вот оно:

«Уважаемый Глеб Александрович Горышин!

Извините, что вдруг пишу Вам это письмо. Я японка, мне 52 года. Когда мне было около 35 лет, я начала изучать русский язык и очень хотелось мне выучить Ваш родной язык самой. (Мой муж работает профессором философии в университете острова Хоккайдо.)

В 1972 году в нашем городе Саппоро проводились зимние Олимпийские игры. Тогда я работала переводчицей.

В 1974 году я путешествовала в СССР. В Москве я нашла Вашу книгу «День-деньской». После возвращения в Японию я читала ее несколько раз. И мне в сердце занял (так написано: «занял», очевидно, имелось в виду «запал») Даргиничев из повести «Запонец».

Я буду рада, если Вы разрешите мне перевести Вашу повесть на японский. Я хочу это сделать в знак памяти о своей жизни за последние 17 лет, когда я учила русский язык. Когда-нибудь я завершу перевод книги и затем хочу издать ее в Японии...»

Я ответил милой японке в городе Саппоро: конечно, пожалуйста, будьте любезны, разрешаю, благодарю, желаю всего наилучшего и т. д. Позднее сообразил, что японской домохозяйке при муже-профессоре, то есть при относительно обеспеченной жизни, необходимо иметь свое хобби, нечто такое, что позволяет отрешиться от домашнего хозяйства, дает шанс женщине самоутвердиться. То же в Англии (очевидно, и в других странах); в английском городе Доридже, близ Бирмингема, у нашей семьи есть дружеская семья Шерман, Ян и Джин: Ян – юрисконсульт на машиностроительном заводе, Джин домохозяйка. У Джин своя маленькая типография, она печатает – распространяет поздравительные открытки, визитные карточки, напечатала книжку стихов моего друга Ивана Ленькина, вязальщика корзин из деревни Старый Шимок, Новгородской области, – по-русски и по-английски. В этом хобби английской домохозяйки. Еще Ян изучает русский язык, Джин итальянский...

Да, так вот, при встрече Мицуко Охата поведала мне, что в свое время поехала в Оксфорд, где стажировался ее муж-философ, сделала остановку в Москве, зашла в книжный магазин, ей на глаза попала моя только что вышедшая книга «День-деньской», Мицуко открыла книгу, на титуле прочитала: «Посвящается моей матери». Такое посвящение тотчас нашло отклик в сердце японки, переполненным любовью к собственной маме, Мицуко купила мою книгу... В дальнейшем я стану объектом (или субъектом?) хобби японской домохозяйки из города Саппоро.

У нас с Мицуко завязывается переписка — на много лет вперед. По мере вгрызания в мою повесть переводчица сталкивается с трудностями, не находит в русско-японском словаре таких слов, как «запонь», «плюш», «чурка», «супесь» и других. Я ей отвечаю, что значит то и это, мало-помалу мы привыкаем друг к другу, обмениваемся впечатлениями японской и русской жизни. В переписке бывают паузы, вызванные важными причинами: смертью матери Мицуко, ее болезнью, переездом из Саппоро в Токио. У меня тоже бывают свои причины: перемена общественно-политического строя в России, неизданные мои сочинения, безденежье. Но связь с Японией не обрывается, в ней есть нечто превыше внешних причин и обстоятельств: протянулась нить между двумя существами человеческого рода, различных рас, конституций, отстоящими друг от друга на половину экватора, но читающими одну и ту же книгу. Мы с госпожой Мицуко Охата-сан так и держимся за нить по сей день, ничего не желая друг другу, кроме добра.

В 1988 году из Японии пришел пакет, выложенный изнутри ватином, как будто в посылке фарфор. Я вынул из ватина пять экземпляров книги, штучной японской выделки, в переплете из темной материи, с признаками шелка, с тисненными серебром иероглифами на обложке и корешке, строчками сверху вниз на матово-глянцевитой, с медовым оттенком бумаге, с большими полями и пробелами, плетеной из шелковых нитей желтой тесьмой-закладкой, в целлофановой суперобложке: книга открывается не слева направо, как у нас, а справа налево, соответственно идет и нумерация страниц. На каждой странице столбцы немислимо затейливых иероглифов, только в самом конце (или это начало?) две строчки по-русски: автор и название — «Запонь».

На перевод и издание моей повести «Запонь» Мицуко Охата потратила четырнадцать лет. И до того — семнадцать на изучение русского языка, итого, тридцать один год! Вот что значит верность избранному хобби, когда увлечение основано на добре к ближнему по планете, на литературе как языке добра.

В сопроводительном к посылке письме переводчицы не содержалось каких-либо интересных для автора сведений: кто издал, каков тираж, причитается ли гонорар. Я пережил всю гамму положительных эмоций, получив из Саппоро драгоценный подарок — дозу вполне материального добра: у меня в Японии вышла книга, можно подержать ее в руках, представить себе читающего мою книгу японца или японку. Я не донимал переводчицу вопросами о гонораре и прочем; что сопутствует выходу книги в капстране (предел мечтаний советского автора!), тем более такой богатой, как Япония. Ну, хорошо...

Еще через сколько-то лет Мицуко Охата сообщила, что издала мою «Запонь» за собственный счет, в количестве ста экземпляров, книгу прочли ее мама, муж, люди близкого круга. В продажу книга не поступала, однако переводчица представила ее в Национальную библиотеку Японии, там книгу занесли в каталог, тем самым признав ее наличную духовную ценность. Прекрасно! Мицуко Охата уведомила меня, что выход в свет моей книги в ее переводе почитает чуть ли не делом жизни — скромным вкладом в общий у всех людей фонд добра и дружбы.

Я еще раз полюбовался подаренной мне судьбой изящной выделки книгой с серебряными иероглифами на обложке. Что может быть лучше?! Наша переписка с Мицуко Охата продолжалась (с паузами). Весною 1994 года Мицуко сообщила в письме, что в сентябре они с мужем, с туристской группой, придут в Санкт-Петербург... У них будет свободное время, мужу Мицуко так бы хотелось съездить в мою деревню, он так любит природу. Не могу ли я?... Я-то могу, но каково будет старым японцам трястись шесть часов в машине, хорошо, если найдется лодка — переехать озеро, чтобы попасть в мою деревню. А если пешком киселя хлебать? А где ночевать? Я в избе сплю на сене, прижмут холода — забираюсь на печь... А по нужде бегать под кустик, а вдруг дожди?... Нет, в мою деревню японцев я не повезу, избави Боже. Вот разве что в Комарово. Мы с женой ждали супругов Охата как очень близких желанных гостей. И в то же время таинственных, непонятных японцев...

Наконец в телефонной трубке голос Мицуко Охата... Мицуко лучше пишет по-русски, чем говорит, как все японцы, не выговаривает звук «л», заменяет его на «р»: «Мы приретери...» Сажусь в машину, мчусь в гостиницу «Прибалтийскую», в холле вижу японскую пару... нам не надо приглядываться друг к другу, представляться, мы близко знакомы уже почти двадцать лет. Мои японцы отличались не только от ошивающихся в холле леди и джентльменов, но их бы можно выделить и в стае таких, как они, узкоглазых островитян – по написанной на их лицах озабоченно-доверчивой провинциальной старомодности. Мои японцы представляли собой пару из доброго старого времени, как и я. Ну вот и встретились, здрасьте!

Что показать моим японцам в Санкт-Петербурге? Что надлежит им увидеть согласно путевке тура, покажет фирма, а я... Я обещал показать деревню. Садитесь, поехали. Вот это, видите, наша осень, в позолоте березы. В Японии тоже растут березы. Вот это сосны, осины, рябины, ольха. Мицуко с нежностью смотрит на своего мужа: «Мой муж очень любит природу». Вот это папоротник. Мицуко заливается смехом: «Я прочитала у вас «папоротник», долго не могла найти, что значит это слово». Вот это Щучье озеро. Выясняем, есть ли в Японии щуки. Есть. Вблизи берега плавает одна утка. Мицуко закручинилась: «Почему одна? Ей же скучно». Выныривает вторая. Все в порядке.

Заезжаем на дачу к моему другу Жене Кутузову. Женя с женой Еленой принесли из лесу моховиков, сыроежек, зажарили с картошкой, луком, в сметане. Нас приглашают к столу, на первое суп с фасолью, на второе жареные грибы. Тут выявляется разница между нами и японцами – в принятии пищи: мы быстро все умеем, особенно под водку (я не пью, за рулем), затем пробавляемся беседой или так чаевничаем. Японцы едят помаленьку, как будто не замечают еды, надолго отрываюся от тарелок ради беседы. Хозяйка делает попытки унести тарелки с недоеденным остывшим супом, японцы не отдают, прилебывают суп вперемежку с грибами. Их тарелки и чашки пустеют к тому моменту, когда ведущий (везущий) смотрит на часы: «Дорогие гости, не надоели ли вам хозяева?» В посуде у гостей не остается ни крошки, ни глотка. Мы расправились с пищей минут за десять, осоловели, а им хватило на все время пребывания за столом. Это я не к тому, что **русские** – свиньи, а японцы – душки, просто у нас разные подходы к трапезе и застольной беседе. И жалко японцев: ну, право, какой же вкус в остывших фасолевым супе, жареных маховиках, сыроежках? Японцы кланяются, благодарят: «Спасибо! Все очень вкусно! Мы никогда не забудем, как нас принимали в деревне Комарово...» Мицуко-сан хорошо знает слово «деревня», начиталась моих сочинений.

В нашем городе поливают дожди. Как разглядишь наш город сквозь завесу дождя? Об этом пусть позаботится туристическая фирма. Днем Мицуко Охата с мужем на экскурсиях, по вечерам сидим у нас дома, знаем, что тарелок с недоеденным у гостей забирать не надо, гости все доедят. Мицуко-сан что-нибудь рассказывает, весело смеется. Ее муж, профессор философии с острова Хоккайдо, благоговейно слушает свою подругу, не понимая ни слова. Мы сидим за столом, как наконец-то съехавшаяся большая семья. Забываем, что скоро нам расставаться, что милые наши гости улетят Бог знает куда и едва ли еще доведется...

Прощаемся у подъезда «Прибалтийской» гостиницы. Простились. Нет, японцы не уходят, стоят, машут руками. Поливает дождь. Так жалко нам расставаться, хоть плачь.

А все с чего началось? С литературного сочинения. Литература, если содержит в себе добро, соединяет людей, помогает найти друг друга двоим непохожим, в таком далеке друг от друга живущим... Теперь что же? Теперь бы не потерять...